

АНДЖЕЛО ДЕ ДЖЕНТИ

## МОЙ ВИЗАНТИЙСКИЙ РУБЦОВ

*А. де Дженти родился в 1928 году, он итальянский кинорежиссёр и продюсер, учившийся в Московском Литературном институте и Институте кинематографии с 1949 по 1961 год. Ему пришлось учиться вместе с Н. Рубцовым, В. Беловым, О. Фокиной. В настоящее время де Дженти активно работает в кино и на телевидении Италии.*

*В течение многих лет он путешествовал по Северу России, дружил с В. Шукшиным и другими известными русскими кинодеятелями.*

*В своё время он увлекался византийским искусством, так как принадлежит к верующим итальянцам, причисляющим себя к Восточной греко-романской церкви.*

*Этот материал впервые был опубликован в журнале “Вече” (Мюнхен) № 53 в 1994 году.*

Мой милый, далёкий, близкий друг.

Помнишь наш спор: из чего рождается безумство творения? Я был склонен <думать> – ты тоже, – что оно приживается в нас от страха, от того неведомого и удивительного страха, когда мы впервые одинокими вступаем на порог храма, не чувствуя тяжести бытия, ибо одиноки мы всегда перед Богом, ибо только Он напоминает нам об отце, о нашем роде, о нашей изначальности.

Мы спорили тогда с нашими друзьями, что означали для нас с тобой понятия или просто выражения “византийское небо”, “византийская даль”; спорили мы, как безумцы, придавая этим словам мучительное назначение бытия нашего. Так мы спорили до зари, пока друзья наши предавались глубокому сну. Лишь мы с тобой, как брошенные судьбою дети, с недоумением смотрели в одну и ту же точку, на третьего друга нашего: на кипящий у подоконника любимый чайник. А пар, как лёгкий туман древности, струился из носика, словно жалобно хотел напомнить нам, что для нас с тобой наступил момент точки с запятой, чтобы затем спокойно продолжать толкование истинной сути византийского небосклона.

Ты вынул вилку плитки из розетки; насыпал в стеклянный стакан заварку чая, и через струйки пара мне чудилось, что ты наполнил комнату какой-то странной грустной улыбкой... Я всматривался в тебя; и за этим паром перед моими глазами вставала неизгладимая кромешная печаль фресок византийских мастеров.

Милый друг! Тогдашним моим постулатом по византийскому небосклону было то, что Константин Великий, после выдающейся победы над Лицинием, который повсюду преследовал христиан, решил задолго до Петра на берегах Невы увековечить византийский дух: перенёс столицу Римской империи на

берега Мраморного моря, создав Константинополь, наш Царьград. Внедрилась в людей империи страсть созидания: со всех концов греческого мира свозились сюда нерукотворные произведения искусства. Византийское небо стало покровителем умов и началом нашей веры.

... И возникают в памяти твои строки — я их возлагаю здесь, как лепестки, без грамматических кавычек:

— В твоих глазах — любовь кромешная, немая, дикая, безгрешная, и что-то в них религиозное...

Считали мы себя византийскими детьми, значит — по времени — взрослыми; и толковали, может быть по-детски, о византийском или греко-римском праве Юстиниана, по которому наивысшим злодеянием считалось гонение против веры и Церкви.

Нас Тютчев тогда “преследовал”:

— Москва, и град Петров, и Константинов град — вот царства русского заветные столицы... Но где предел ему? и где его границы — на север, на восток, на юг и на закат? Грядущим временам судьбы их обличат... Семь внутренних морей и семь великих рек... От Нила до Невы, от Эльбы до Китая — от Волги до Ефрат, от Ганга до Дуная... — вот царство русское... и не преждёт вовек, как то провидел Дух и Даниил предрёк.

Я как-то подал тебе мою тетрадь, и ты читал:

— Первое знакомство русских с византийским правом относится ко времени, предшествовавшему принятию Россией христианства: византийскими элементами проникнуты были все договоры русских с греками ещё с X века, со времён пребывания самих русских в Константинополе.

Мы обсуждали: в греческом оригинале Евангелия “Слову” соответствует “Логос”, имеющий одновременно и значение “смысла”, то есть “В начале был Смысл” — смысл мироздания. Также и русское слово “истина” отличается от слова “правда”. В чём же сила языков? Мы часто задавали себе такой вопрос, заметив, что некоторые языки эти два понятия выражают одним лишь словом.

Христианство со своим божественным языком, словно лихой рыцарь, благовещенским духом проникло в Россию; и это казалось настолько естественным, как сама истина или “естина” — первосущность всего того, что является русским. Глазами наших предков мы замечали, как сами греки, имевшие за спиной весь арсенал античности и красоты, недоумевали от страстности тогдашних русских к великой вере. Как мучительно теперь увидеть эту гармонию духа, эту красоту, как нечто уходящее тайком в дебри веков, как мираж... В этом мираже для нас — и смысл мироздания, и любовь, и лад.

Своими строками ты хотел спасти от глумления времени времени эту гармонию, эту любовь, этот лад. Мы без слов понимали друг друга, и нам было хорошо на душе. И душа становилась чистой, как первый снег. Тогда, ты помнишь, мы видели сон: наши глаза прощались со снежной далью. И просто из такой дали я отправился в Константинополь, чтобы увидеть, наконец, святую Софию, Премудрость Божью, сооруженную Юстинианом в 532–537 годах.

Для возведения этого храма трудилось ежедневно 10 000 рабочих и мастеров, руководимые чудотворцами собора: Анфимием из Траллеса и Исидором из Милета. Юстиниан, горячо принимая к сердцу предприятие, желал, чтобы воздвигаемая церковь превзошла величиною и роскошью все когда-либо существовавшие храмы: золото, серебро, слоновая кость и дорогие породы камней были употреблены для её украшения в огромном количестве. Со всех концов империи свозились колонны и глыбы редчайших мраморов, шедшие на её убранство. Невиданное и неслышанное великолепие храма до такой степени поражало народную фантазию, что сложились легенды о непосредственном участии в его сооружении небесных сил.

После завоевания Константинополя (1453) турки обратили храм святой Софии в свою главную мечеть, закрыв мозаичные изображения на её стенах штукатуркой, уничтожив в ней престол, алтарную преграду и прочие принадлежности христианского культа и обезобразив её наружность разными пристройками. Что-то подобное случилось во многих великолепных храмах в недавнем прошлом в самой России...

Но и в провинциях Византийской империи воздвигались подобные соборы: Кафоликон в Афинах, сооруженный в VIII или в IX веке, имеющий форму креста, св. Никодим, также в Афинах, увенчанный 13-ю куполами, и многие-многие другие.

Влияние святой Софии отразилось сильно в искусстве многих народов, пришедших в какое-либо соприкосновение с византийским искусством. Таким образом, в Италии, кроме равенских церквей, носят на себе отпечаток византийского стиля некоторые храмы Сицилии (Монреальский собор, Паладинская капелла и Марториана в Палермо, Мессинский собор), собор св. Марка в Венеции (освящённый в 1085 году), церкви на острове Торчелло и в других местах Адриатического побережья. В Германии в том же стиле сооружены соборы, возникшие во времена Карла Великого на берегах Рейна. Во Франции, в Лиможе и по соседству, мы находим несколько храмов, в которых видно несомненное влияние византизма, как, например, церковь св. Фронта в Перигё. Но нигде зодчество Византии не дало столь сильных и долговечных отпрысков, как в России, Армении, Грузии — странах, заимствовавших его отсюда вместе с догматами и обрядами религии...

Великолепный образец византийского эмалирного дела представляет знаменитая золотая “доска” иконостаса, украшающая главный алтарь в венецианском соборе св. Марка. Искусство византийских мастеров в эмалирных изделиях со временем укреплялось и развивалось у русских мастеров.

Византийская живопись и мозаика сохранила во времени многие элементы античного искусства, которые, будучи потом перенесены византийскими мастерами в Италию, помогли развиваться дивным образом искусству Возрождения. Мало кто знает, но нельзя не упомянуть, что “Христос между св. Виталием и Экклезием” на своде храма св. Виталия в Равенне и “Юстиниан и императрица Феодора, входящие в храм вместе с их свитой”, “Крещение Господне, окружённое фигурами апостолов” в куполе церкви Санта-Мария-ин-Космедин в Риме, — что все эти изображения проникнуты византийским духом.

Мозаика, относящаяся к VII–VIII векам, на Востоке почти совсем не уцелела, но о том, какова она была там в ту пору, можно судить по произведениям, исполненным в Италии, очевидно, греческими мастерами, как, например, мозаика в главной апсиде церкви св. Агнессы “вне стен” в Риме, а также в Равенне и некоторых других местах Италии. По этим мозаикам можно определить изображение на большой западной арке в святой Софии в Константинополе.

Важную отрасль византийского искусства составляют также переносные, писанные на дереве иконы, которые ставились в храмах или хранились, как святыни, у благочестивых людей. Оригиналы этих образов сохранены в Ватиканском музее и в ряде католических церквей Италии, а также по церквям и монастырям России и Востока.

Милый друг! В те же жуткие и нежные дни паломничества, когда я снова вернулся из Константинополя, принеся тебе на память открытку с изображением святой Софии, ты мне не в шутку сказал:

— А я дарю тебе взамен северную избушку, в которой вмещается вся Россия.

И ещё сказал:

— Если мы с тобой захотим — она станет храмом... Вот так!

Через некоторое время мой старый друг Рачков (друг нашего друга — Белова) повёл меня к избушке, которая почему-то была снесена, открывшись лишь звёздам. И снова вспомнил я твои слова:

— Случайный гость, я здесь ищу жилище и вот пою про уголок Руси, где жёлтый куст и лодка кверху днищем, и колесо, забытое в грязи...

Мы много времени тогда теряли на пустыки, лелея надежду... Единственное утешением был вологодский небосклон. И я там был, и ты там был. Ты говорил:

— Живу вблизи пустого храма, на крутизне береговой, где женщины с мостка своё бельё полощут.

Неподалеку от этого вологодского храма как-то я очутился в доме-музее Батюшкова. Девушка-красавица из поэтической семьи Каратаевых попросила меня привезти из Неаполя, где долго жил Батюшков, какие-нибудь реликвенные “следы” для музея. Так и потерялись эти экспонаты в тёмных погребах посольства тех времён...

Читали мы тогда Батюшкова, который был весь пронизан итальянским духом. Я помню слова Пушкина, написанные на полях стихов Батюшкова: “Звучи итальянские! Что за чудотворец этот Батюшков...” Скажите же мне: кто из настоящих русских не приземлил европейскую Культуру с большой буквы, высокую европейскую мысль? Если Гоголь писал самую что ни на есть русскую

книгу “Мёртвые души” среди римских пиний, если целая плеяда русских художников и литераторов вдохновлялась итальянским миром, если наш милый, любимый Пушкин мечтал об этом... Помнишь, как он в своём Онегине сказал:

– Адриатические волны, о Брента, я увижу ль вас?..

Как могли русскую душу отмежевать от всего того, что сам Бог дал земле? Но наш Пушкин – он был здесь, на итальянской земле, ибо он жаждал быть здесь, быть здешним, будучи русским. Не бывает желания вообще, ибо у желания нет прерванной дороги... И если я мчусь нынче к тебе, к вологодским измам, следы мои к тебе будут покрыты твоими следами ко мне, ибо у души нет пути без возвращения. По этим следам обратно в Рим явился и постучал ко мне в дверь, что напротив Сикстинской капеллы, наш милый Вася-Василий-Василий Иванович. Был он тогда вместе с другими литераторами из советской России, из разных республик, как тогда говорили. Застал меня Василий врасплох: не был я готов к его приезду, но мои следы, ведущие меня в Вологду, сами привели его ко мне. И я восторгался его присутствием, которое стало для меня и щитом от тех, кто утверждал, будто русским и без других – просторов своих достаточно.

Василий меня всегда поражал какой-то безгрешностью в своих писаниях. Уже тогда он был самым достойным русским писателем. Его слог – от той плоти, на чём держится всё русское. Я прибавил бы: всё, что можно назвать универсальным, ибо то, что велико, – это удел не только одного народа, а всех. Он для меня к тому же персонаж отдельного моего рассказа – были. Давно он об этом знает, а будет, наверное, самым последним читателем этого рассказа, ибо рассказ этот написан не на русском, а на итальянском языке.

Я здесь позволю себе привести только один момент нашей римской встречи. В тот день, когда он постучался ко мне в дверь, привелось ему вместе с группой литераторов посетить Сикстинскую капеллу. Выйдя оттуда, он обрушился на литераторов, которые упустили такой случай. Каждому своё, мой друг, утешил я его. Взглянул Василий на меня и сказал:

– Я завтра снова посмотрю на Микеланджело.

Пропустил Вася обед; снова зашёл в капеллу и замечтался перед “Страшным судом” Микеланджело до самого закрытия музея. Вышел, зашёл ко мне и, не выдержав восторга, решительно сказал:

– У Микеланджело задумал новый роман – “Кануны”.

Почти как Гоголь...

Но вернёмся к тебе, мой милый друг. Помнишь, поздно ночью ты возвращался в наш терем, наше строгое общежитие. Задорно играл ты на гармошке, на той, которая была для тебя и для меня вездесущим праздником и печалью. О Боже, тебя почему-то не все любили в том тереме: мало кто тебя понимал, ибо многие тогда жили по писанным правилам. А у поэта правила неписанные. Верно, было время позднее. Весь длинный коридор ожил от звука гармошки. Возмущённые и недоумевающие вышли из своих келий несколько студентов: Эльгас с ножом, Агьев с фонариком в руках, Мумтаев со своей деревянной ручкой, Фикрет, русские ребята и некоторые прибалтийцы. Все хотели избавиться от надоедливой гармошки. “О, Боже, – думал я, – озари Своим светом умы толпы...” Гармошка помогала твоему слабому голосу, но они – никто из них! – не был готов к такому восприятию мира. Как в таких случаях восстановить человеческое доверие? Я помню, как ты, в тот раз отвергнув стадное чувство других, избежав худшего, вместе со мной ступил на порог моей комнаты. Дверь почему-то осталась полуоткрытой... Да, дружок, толпа есть толпа: она ворвалась в комнату, она просто торжествовала, ей этого, казалось, было достаточно. Но кто-то схватил гармошку и со всей силой с четвёртого этажа выбросил её за окно. А ты, драчун, рыцарь истины, на этот раз молчал; может быть, чтобы услышать последнюю ноту улетающей за окно гармошки, откуда донёсся какой-то звук, как последняя молитва. Я впервые увидел, как ты, словно богомолец-пилигрим, трижды перекрестился и что-то необыкновенное бормотал... Толпа застыла: она была вне времени и пространства.

– Коля, что случилось? – спросил я тебя.

– Бумагу, – сказал ты. – Дайте бумагу. Бумагу.

Я заметил, как грешная толпа смылась, оставь тебя в безумстве творчества. Слово флорентийский тпец, ты стал жестиковать руками, всем существом, ища исчезающие слова и строки. И ты мне в то мгновение показался вечным. Твоё лицо я где-то видел в рисунках пушкинского альбома. Я не

боялся больше за тебя: я вышел стремглав на улицу – за гармошкой. О, Боже, что увидели мои глаза! Кругом всё было покрыто первым снегом. И белизна его была, как чистая бумага.

Подняв гармошку, я вспомнил твои строки: “Ах, кто не любит первый снег, как на гармонь летят снеж(ин?)ки. . .” Весь в снегу, я, как ветер, ворвался в комнату. . . С чайником в руках, ты грустно смотрел на снег.

Ты писал, что, никем не гонимый, сам явился в своей необъяснимой любви к Северу. Меня тоже, никем не гонимого, конь византийский понёс к тем краям. Ты говорил: “Люблю я Русь за её страдания, за погосты и молитвы, за старину, за вечный покой. . .” И снова: “Как много жёлтых снимков на Руси, в такой простой и бережной оправе. . .”

Милый мой человек! Я сохраняю твой снимок в углу этой бережной оправы, где стоит берёза, старая, как Русь.

– Когда не будет памяти о нас, – ты говорил, – тогда что будет? Этот снимок, как сон столетий, “по буграм отразится, где избы, берёзы и Божий храм”. Безграничность времени. . .

Джакомо Леопарди в своём стихотворении “Безграничность”, будучи итальянцем, становится как бы совершенно русским по духу:

– Всегда был мил мне этот холм пустынный и изгородь, отнявшая у взгляда большую часть по краю горизонта. . . и молчанье неведомое, и покой глубокий я представляю в мыслях; оттого почти в испуге сердце. . . и вечность, и умершие годы времени, и нынешнее, звучное, живое, приходит мне на ум. И среди этой безмерности все мысли исчезают, и сладостно тонуть мне в этом море. . .

Я помню мои слова, обращенные к тебе, может быть, по поводу стихов Леопарди. Я сказал тебе:

– Почему итальянские пинии не должны быть и твоими, а твои берёзы – моими? Леопарди ведь не ставит никакой грани для людей в своём стихотворении. Разве не универсальна земля? Вера, искусство, звёзды – разве не универсальны?

Ты долго думал, ты сразу не ответил мне тогда. Ты взялся за гармошку, смотрел куда-то вдаль, снова положил гармошку на подоконник.

– Слушай, старик, – неохотно обратился ты ко мне, – значит, ты хочешь объединить римскую империю с русской – так, что ли? Нет-нет, не то я хотел сказать. . . Ты хочешь господство – царство на земле. . . видимо, тебе Царства Небесного не хватает. Ишь ты, какой демон. . .

Я с умыслом прерываю здесь мой рассказ о друге, чтобы ещё собраться с мыслями и ждть крещенских морозов, ибо во время этих морозов стиралась грань между его жизнью и его смертью. Одну лишь деталь этой грани не могу здесь не зафиксировать.

Странная штука поэзия! Как верно она предвещает нам пути Господни. В крещенские морозы ты – то ли в шутку, то ли всерьёз – собрался в невозвратный путь. А руки твоей возлюбленной, твоей подруги жизни как бы не хотели тебя отпустить: схватили они тебя мёртвой хваткой. Её руки – не руки? – глупо застыли на тебе, заснувшем. Мне Ольга наша, Фокина, много времени спустя что-то неохотно объясняла, а глаза её были полны состраданием.

Не знаю, какой был вид у твоей возлюбленной тогда, в тот жуткий час, но я знаю, как выглядели мы при вести о том ужасе: мы все застыли с глупым видом. Милый Коля, не сердись, что никого из нас не было тогда с тобою рядом. И дружба здесь бессильна. Никто тебя в тот миг не защитил, Россия сама не могла тебя защитить: она была занята, занята премиями. А тебе от лавров было жутко и больно. . .

Мы, твои друзья, состарились с тех пор. Лишь ты остался молодым, как Пушкин, как Лермонтов, – Рубцов. И каждый раз, когда наступают крещенские морозы, кто-то тихо в храме молится о тебе. Это Русь, та самая старая женщина – Русь, которая никак не может быть делима даже в бедствии и несчастье.